

Не успева привыкнуть снова к московскому времени, отоспавшись, пробудившись, заворачиваясь в одеяло, вспоминаешь, что в этот день 250-летие этого сибирского города, и давай, как видишь, представляешь просто невозможным оказаться в такой день где-то в другом месте.

— Как живет сегодня твой демократический настроенный в дни путча станция? Пока ты был там, я успела прочесть твой новый роман и помню эпизод, где помощник Президента, принимавший 19 августа со всех сторон трупы: «Белый дом» — это убиенный среди шеняния, потрескивания и чиник-то посторонних головок христиан, но в то же время тоненький, как паутинка, чей-то голос: «Белый дом? Мы с вами...» Может, это вымысел, ведь не документальное повествование — роман. Так какое настроение у земляков сегодня? Изменилось там что-то? Ты летал туда, кажется, год назад.

— Не вымысел, но чудо, что именно в тот самый момент, когда я находился в кабинете помощника Ельцина, заговорила моя Зина.

— Когда Володя Высоцкий проехал через станцию Зима, он сказал золотисто-искусственно Вадиму Туманову: «Слушай, давай сделаем приятное Женюне — снимем на перроне под названием станция».

Эту фотографию Туманов передал мне, когда Володя уже не стало. Есть «взвешенные» и «взвешенные». Они иронически называют меня «страдальцем» поэтом. Но они забывают, что когда-то я был «перронным» поэтом. Именно на этом залужанном семечками зиминском перроне, на котором сфотографировался Высоцкий, я, восьмилетний пацан, когда-то в сорок первом году пел солдатам за кусок хлеба, за мятые рублевки, а то и просто за так: «где-то в старом глухом городишке Колумбия с друзьями жила. До семнадцати лет никого не любила, но потом себе друга нашла». Наше «перронное» поколение — незарегистрированные ветераны Великой Отечественной. Чувство народа, родины родилось у меня на моей первой эстраде — зиминском перроне. Поэтому-то я и не могу представить своей жизни без того, чтобы не петь стихи (или — как это называется — читать!) людям. С той поры мой перрон, на котором я пою, стал шире — вот и все. Я его перекинул одним краем даже через океан в Америку. Но куда бы меня ни занесли ветры моих странствий, я всегда неизменно возвращаюсь на другой, изначальный край перрона — на безликий бетонный, а из сибирских листваницы, потому что на нем даже занавес другие, иногда болельщик, но зато родные, со своей особой смолькой. В этот раз я и прилетел в Зиму, на ее 250-летие — как видишь, она старше Соединенных Штатов. Я один из трех почетных граждан моей крошечной родины и, поверь, это для меня означает больше всех других наград. Надо было прочесть землякам что-то новое — такое, что добавило бы им чуть больше надежды. Добавлять безнадежности — не мой удел. Это стихия пламенных «патриотов», спекулирующих на наших бедах. Нет, патриотизм и злораство есть вещи несомненные...

Вот что случилось в «молоте» Москвы — Иркутск:

**ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО**

По лоскутку, по лоскутку мне сочилась бэбка одеяло, и до сих пор я помню ласку ту, которой одеяло одаряло.

Алепи лоскутки, как угольки, и золотые, как медвежьи очи. Синеяи, словно в поле васильки, или чернели, как лохмотья ночи.

В Сибирь попал не как метеорит, я был и сам в зиминских закуточках от восточной радугой укрыт, как тотый лоскутчек весь в цветочках.

По лоскутку, когда ты собирала мы Россию, сшивая в мощь лоскутную тоску, и в силушу — лоскутное бессие е.

Ликуедапы разодрали нас, и беспощадно, словно одеяла, междуособно над собой глумясь, мы разодрали эти идеалы.

И над опять разодранной страной, как вновь до Калиты, вновь на распути, лишь пепел погорельщины сплошной, знамен и судеб жалкие лоскуты.

Не снизойдет спасенье из Москвы. Оно взойдет по Вологдам, Иркутским.

Спасенье будет медленным, лоскутным, но прирастает друг к другу лоскуты. Империя, прощай! Россия, здравствуй! Россия, властуй!

только над собой, как одеяло б-бки, среди расгей укрой детей с лоскутну судьбой. Я так хочу под пенью поддувала прижаться к бабкиному лоскутку, чтобы она

Россию вновь сшивала по лоскутку, по лоскутку... Ничего себе обнадеживание — лишь пепел погорельщины сплошной... — А мой оптимизм именно такой — с пелом...

Но ты все-таки избегаешь прямую отставку: что изменилось на станции Зима за год? Или в чем изменился твой собственный взгляд на Россию из Америки по сравнению со взглядом на Россию со станции Зима?

— Я не избегаю — я подбираюсь к этому ответу, я его ищу внутри себя, внутри истории. Раньше я ездил за границу с радостью обнять земной шар у всех и украденный «холодной войной», но и с некоторым страхом — я все время боялся, что меня не пустят обратно. А сейчас я стал возвращаться со страхом. С инстинктивной безразличностью жду новых попыток атаковать меня в какие-то междуособные политические стая, в так называемые литературную борьбу, подменяющую литературу. Ос-

корбления воюющих шовинистов, которые сожгли мое чучело во дворе Союза писателей, меня не задевают, а вот озлобленные оскорбления тех, кто называет себя демократами-интернационалистами, — это слишком дорого обходится душе. Страшно опять во все это погружаться по возвращении. Но это мелочи по сравнению с призраком гражданской войны.

Когда за границей читал газетные новости, смотрел телевизионные репортажи о том, что происходит в России, этот призрачный налет реальности. Мы уже знаем по горькому нашему опыту, как гражданская война может исчерпать судьбу народа. В начале века Россия мощно набрала ход — и экономический, и политический, постепенно перерастая из феодального общества в цивилизованное. Неправильное выражение — «февральская революция». Это была февральская эволюция. К несчастью, тогда во Временном правительстве оказались слишком инфантильные люди, не способные волевыми руками направить течение истории в цивилизованное русло. Власть у предрасудочного, но безвольного индиферентизма всегда перехватывает воля, и чаще всего злая. Россия после семидесятого года из естественно развивающейся страны превратилась в страну насильственно развивающуюся, да еще и на костях собственного народа, как называемый социализм стал лишь псевдонимом нового феодализма, и вместо царского образцового патриотического самодержавия. Но сейчас опять похоже, что люди, взявшие власть, оказались не подготовленными к этой инфантильно мимикрирующей, вместо того чтобы четко, продуманно действовать. А над ними реют

дети рождают, и гражданской войны, ей-Богу, никаким нормальным людям не хочется.

За реформы большинство этих людей проголосовало на референдуме, все не потому, что они — эти реформы — и вправду людям нравятся. Такие немудрые реформы не могут нравиться ни одному нормальному человеку. Но проголосовали «за» потому, что не хотят обратно в ГУЛАГ, в клетку одной-единственной системы, в ежедневный обиход души, в невозможность построения второй этаж дочке клетушки, в невозможность иметь собственную землю, в невозможность без разрешения монстров из выведенных комиссий уличить хоть краешком глаза остальную мир. Да, российский глубинка — это вольно своей жизнью, отнюдь не райской. Но не настолько, чтобы захотеть вернуться в прошлое. Есть озлобленные, но панки и злобства нет. Глубинка сообразила, что она теперь сирота, но зато свободная и, чтобы выжить, ей надо кутиться самой. Но в поисках выживания глубинка, как и центр, вместо производства бросилась в спекуляцию. Особенно неприятно, что этим горячо занялась молодежь. Потерянное поколение — это очень опасно.

На зиминском рынке раньше всегда

# Поэт в России меньше, чем поэт?



Евгений ЕВТУШЕНКО в беседе с Ириной РИШИНОЙ

Фото Владимира БОГДАНОВА

были местные шерстяные вязаные носки, варежки, колтуны сельской ковки, разноцветные красавицы-полотняшки, дилежки чешские, расписанные розами, меховые маляхи. Ничего этого я не увидел — сплошная перепродажа китайского, южнокорейского, японского безвкусного, дешевого ширпотреба. Но тоска по своему, русскому, уже началась — раньше, чем в центре. В книжных магазинах набрасываются на русскую классику, и она сразу исчезает с прилавков, а иногда ее даже продают изпод прилавков, как некогда детективные романы. Хорошо, что мы уже сдвинулись к новому, что мы уже не национализм. Это здравый смысл. Господи Здровый Смысл — вот какой президент нужен такой глубинке.

Несколько странно, что ты не приводишь никаких фактов положительных перемен, а настроение у тебя до завидного протестничества.

— Такие факты действительно пока еще нет, но я чувствую возможность таких фактов. Разве сам воздух безнадежности — это не факт? Разве то, что люди не падают духом, не унывают, — не факт? Все-таки мы, отставая возможность перемен, просто не научились их осуществлять. Ничего, научимся.

— Ну, кое-кто, впрочем, уже здоров научился изменять жизнь и душе. Но не жизнь других людей, а только свою.

— Да, ты права. Но так было в истории всегда. Свобода для народа отбывали всегда лучшие люди. Но свобода потом наслаивали те, кого не было видно на поле битвы за свободу. Слишком мало сегодня искорки энергии в глазах лучших людей и слишком много этой искорки в глазах тех, для кого главная свобода — свобода халат.

Комбинация «бесовность — энергия» губительна. Нам нужна комбинация «совести — энергия». Нам нужны Савва Морозова. Совесть, но вооруженная энергией, беззащитна перед энергичной бесовственностью.

— В чем же победа ты видишь — совести или бесовственности?

— К сожалению, бесовственность бесстрашна так же, как и совесть. Борьба между ними и есть главный смысл бытия. Это именно то, что религия называет борьбой Бога и дьявола. Наше дело, писательское, не помогает делу дьявола, который хочет отнять у людей все их надежды, подменяя их апокалиптической чернухой, мрачными сочинениями в жанре рвоты.

— То с антология, которую три года ты делал в «Огоньке»?

— Я начал составлять эту антологию для американского издательства «Даблдей» еще 18 лет назад. Задача была объединить всех лучших русских поэтов века: и «белых», и «красных» — качества поэзии. И в этом случае — собирательная стратегия лоскутного одеяла: лоскуток к лоскутку. Тогда переправлять рукопись по почте было невозможно. Выручила Марина Влади: ее не смели обыскивать в аэропортах, потому что она приняла хитроумное решение стать членом ЦК КПСР. После долгих мятарств антология будет напечатана к началу учебного года в «Даблдей». Это самая большая антология иностранной поэзии, когда-либо выходящая на английском, — 1072 страницы, 250 поэтов: от Константина Случевского до Ильи Кричевского, убитого в августе 1991 года.

— Получается, антология выйдет у нас? Получается, англоязычный читатель будет лучше знаком с русской поэзией века, чем наш.

— За это подвиг взялось новое издательство «Полиграф», объявив на английском языке под названием «Строфы века» (главный редактор серии Анатолий Стрельный). Но русский вариант будет еще больше — 80 печатных листов в одном томе крупного, библейского формата с текстом в два столбца! Уже не 250, а примерно 550 поэ-

тов, среди которых и совсем позабытые — такие, как Серафим Огурцов, Владимир Парнах, Юрий Рок и многие другие. Выдержит ли такую книжницу наш отечественный клей и отечественная дружка? Издательство обещает, что выдержит. Зато у каждого, кто купит этот фолиант, будет вся русская поэзия XX века, и не спеша читать ее можно всю жизнь.

— А роман «Не умирай прежде смерти» тоже сработал там или ты начал писать его еще здесь, сразу после путча?

— Лет пятнадцать назад бывший знаменитый вратарь «Динамо» Хомин, прозванный в Англии 1945 года «Тигром», пригласил меня в составе сборной по футболу СССР (ветеранов) поиграть в Молдавию. Ветераны играли медленно, но поперек, видение поля волшебное сохранялись. Молдавские болельщики скинулись и купили для «Тигра» в перерыве роскошный ковер с алыми цветами, чтобы вратарю было полегче падать. Я написал страниц двадцать повести «Матч ветеранов», но потом она почему-то заглохла. Повесть воскресла во мне, когда 19 августа на баррикадах я снова увидел некоторых моих футбольных кумиров, оставшихся в живых. И во мне все сразу связалось в тугой узел — и путч, и футбол, и любовь...

— Ну, три героя — три президента не спрятались под псевдонимами. Сегодня они выданы тебе другими, изменилось отношение к ним?

— Конечно, мое отношение к ним всем менялось как менялись они, события вокруг них и как менялся мир. Глава «Москвы» для президента по времени не написан на год ближе к Ельцину — герою трех августовских дней, чем глава «Процесса с красным флагом», с горечью написанная тогда, когда стали уже ясно непредугаданные трагические последствия непорядочного решения в Беловежской пуще. Однако думаю, что, если бы пути удалось и империи начали сохранять от развала при помощи танков, трагедия была бы еще непоправимей. Глава о Шеварднадзе написана в самом начале грузино-абхазского конфликта, который тогда еще не принял таких кровавых форм, как сегодня. Люди иногда оказываются заложниками обстоятельств, а потом уже не могут остановить развитие событий. История предупреждает, что в этнических войнах никогда не бывает полностью виновата только одна сторона. Сейчас занимается выяснениями, кто виноват больше, кто меньше, кто нечел, а кто продолжил, никакого смысла не имеет. Надо немедленно остановить эту бессмысленную бойню, потому что в моих глазах одинаково горькие слезы от гибели и моих братьев грузин, и моих братьев абхазцев.

— Один из героев следовало бы особенно важным назвать Пельчиониса (не знаю, кто послужил его прототипом, но автор ему явно симпатизирует), говорит: «Не пойдешь ни в какие образовательные учреждения, не пойдешь ни в какие учебные заведения». Тебе близко это суждение?

— А разве я обязан развешивать читателю, мой ли это мысли в устах того или иного героя? Весь роман построен на моих собственных догадках. Пусть и читатель догадывается: высказавшись сразу в том или ином случае, автор ему явно симпатизирует, говорит: «Не пойдешь ни в какие образовательные учреждения, не пойдешь ни в какие учебные заведения». Тебе близко это суждение?

— Славя общественное и личное в романе определен как бы уже в эпиграфе. Сначала сибирская каштанка: «Нет любви неубитой, нет отчета на свей бед. Нет любви незачетной. Позабойтой, то же нет». Потом Уильям Фолкнер: «Прошлое не проходит. Это дано не прошлое». Как замысел не забыть? Найдутся червоточины, которые вешельничать строго вынуждают, с коей автор поднимает занесу над собственной интимной жизнью, наэту духонный стриптизм. Для меня же это драгоценная доверительность интимности, уверенность, что читатель не оскорбит пошлым взглядом, пошлым слесем Любью, для меня это авторские «Я вам верю, доверю», потому-то так и раскисываю стою илючьем в протени.

— Хотим мы этого или не хотим, сама жизнь есть переплетение политики и самого интимного. Было ведь сказано — если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. «Доктор Живого» не политический роман, но политика начала заниматься им, да еще так палачески. Почему? Да потому, что Пастернак поставил историю любви выше истории как таковой. А политика ваяла да и взривовала...

— О многом в своей личной жизни я впервые исповедывался в моем романе: и о тех женщинах, которых любил — да и до сих пор люблю благодарной любовью, — и даже о том, как меня когда-то в студенческие времена безуспешно пытались завербовать в КГБ, а потом, чтобы отомстить за то, что я не согласился, начали рассчитывать распространять грязную дезинформацию. Раскрытые недавно секретные архивы поведали, что, оказывается, шефы КГБ — В. Семичастный, а затем незадачливый поэт Юрий Андронов — лично контролировали постоянные наблюдения за мной как за подвешенным элементом и писали на меня доносы в ЦК, уподобляясь собственным мелким стукачам.

— А почему в подзаголовке романа — «Русская сказка»?

— Есенин когда-то написал: «Лицом к лицу лица не увидать». Этот роман есть попытка разглянуть лицо века и лица героев и антигероев в угор, Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе легко узнаваемы, и многое в их портретах построено на фактах. Но есть и неизбежный элемент гипотезы. Откуда я, на самом де-

— Да уж бежика современной молодой поэзии — в двух очаровательных магазинчиках: «Гилея» на ул. Фрунзе и «Литературный салон» в Казань перулке на Ордынке. Это две магазинчики, но крепчайшие крепости русского поэтического авангарда. Вернувшись оттуда, обложился книжками и читаю, читаю, чтобы дополнить свою антологию поэзии XX века. Мы так зацкились на политике, что можем не заметить гения.

— То с антология, которую три года ты делал в «Огоньке»?

— Я начал составлять эту антологию для американского издательства «Даблдей» еще 18 лет назад. Задача была объединить всех лучших русских поэтов века: и «белых», и «красных» — качества поэзии. И в этом случае — собирательная стратегия лоскутного одеяла: лоскуток к лоскутку. Тогда переправлять рукопись по почте было невозможно. Выручила Марина Влади: ее не смели обыскивать в аэропортах, потому что она приняла хитроумное решение стать членом ЦК КПСР. После долгих мятарств антология будет напечатана к началу учебного года в «Даблдей». Это самая большая антология иностранной поэзии, когда-либо выходящая на английском, — 1072 страницы, 250 поэтов: от Константина Случевского до Ильи Кричевского, убитого в августе 1991 года.

— Получается, антология выйдет у нас? Получается, англоязычный читатель будет лучше знаком с русской поэзией века, чем наш.

— За это подвиг взялось новое издательство «Полиграф», объявив на английском языке под названием «Строфы века» (главный редактор серии Анатолий Стрельный). Но русский вариант будет еще больше — 80 печатных листов в одном томе крупного, библейского формата с текстом в два столбца! Уже не 250, а примерно 550 поэ-

тов, среди которых и совсем позабытые — такие, как Серафим Огурцов, Владимир Парнах, Юрий Рок и многие другие. Выдержит ли такую книжницу наш отечественный клей и отечественная дружка? Издательство обещает, что выдержит. Зато у каждого, кто купит этот фолиант, будет вся русская поэзия XX века, и не спеша читать ее можно всю жизнь.

— А роман «Не умирай прежде смерти» тоже сработал там или ты начал писать его еще здесь, сразу после путча?

— Лет пятнадцать назад бывший знаменитый вратарь «Динамо» Хомин, прозванный в Англии 1945 года «Тигром», пригласил меня в составе сборной по футболу СССР (ветеранов) поиграть в Молдавию. Ветераны играли медленно, но поперек, видение поля волшебное сохранялись. Молдавские болельщики скинулись и купили для «Тигра» в перерыве роскошный ковер с алыми цветами, чтобы вратарю было полегче падать. Я написал страниц двадцать повести «Матч ветеранов», но потом она почему-то заглохла. Повесть воскресла во мне, когда 19 августа на баррикадах я снова увидел некоторых моих футбольных кумиров, оставшихся в живых. И во мне все сразу связалось в тугой узел — и путч, и футбол, и любовь...

— Ну, три героя — три президента не спрятались под псевдонимами. Сегодня они выданы тебе другими, изменилось отношение к ним?

— Конечно, мое отношение к ним всем менялось как менялись они, события вокруг них и как менялся мир. Глава «Москвы» для президента по времени не написан на год ближе к Ельцину — герою трех августовских дней, чем глава «Процесса с красным флагом», с горечью написанная тогда, когда стали уже ясно непредугаданные трагические последствия непорядочного решения в Беловежской пуще. Однако думаю, что, если бы пути удалось и империи начали сохранять от развала при помощи танков, трагедия была бы еще непоправимей. Глава о Шеварднадзе написана в самом начале грузино-абхазского конфликта, который тогда еще не принял таких кровавых форм, как сегодня. Люди иногда оказываются заложниками обстоятельств, а потом уже не могут остановить развитие событий. История предупреждает, что в этнических войнах никогда не бывает полностью виновата только одна сторона. Сейчас занимается выяснениями, кто виноват больше, кто меньше, кто нечел, а кто продолжил, никакого смысла не имеет. Надо немедленно остановить эту бессмысленную бойню, потому что в моих глазах одинаково горькие слезы от гибели и моих братьев грузин, и моих братьев абхазцев.

— Один из героев следовало бы особенно важным назвать Пельчиониса (не знаю, кто послужил его прототипом, но автор ему явно симпатизирует), говорит: «Не пойдешь ни в какие образовательные учреждения, не пойдешь ни в какие учебные заведения». Тебе близко это суждение?

— А разве я обязан развешивать читателю, мой ли это мысли в устах того или иного героя? Весь роман построен на моих собственных догадках. Пусть и читатель догадывается: высказавшись сразу в том или ином случае, автор ему явно симпатизирует, говорит: «Не пойдешь ни в какие образовательные учреждения, не пойдешь ни в какие учебные заведения». Тебе близко это суждение?

— Славя общественное и личное в романе определен как бы уже в эпиграфе. Сначала сибирская каштанка: «Нет любви неубитой, нет отчета на свей бед. Нет любви незачетной. Позабойтой, то же нет». Потом Уильям Фолкнер: «Прошлое не проходит. Это дано не прошлое». Как замысел не забыть? Найдутся червоточины, которые вешельничать строго вынуждают, с коей автор поднимает занесу над собственной интимной жизнью, наэту духонный стриптизм. Для меня же это драгоценная доверительность интимности, уверенность, что читатель не оскорбит пошлым взглядом, пошлым слесем Любью, для меня это авторские «Я вам верю, доверю», потому-то так и раскисываю стою илючьем в протени.

— Хотим мы этого или не хотим, сама жизнь есть переплетение политики и самого интимного. Было ведь сказано — если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. «Доктор Живого» не политический роман, но политика начала заниматься им, да еще так палачески. Почему? Да потому, что Пастернак поставил историю любви выше истории как таковой. А политика ваяла да и взривовала...

— О многом в своей личной жизни я впервые исповедывался в моем романе: и о тех женщинах, которых любил — да и до сих пор люблю благодарной любовью, — и даже о том, как меня когда-то в студенческие времена безуспешно пытались завербовать в КГБ, а потом, чтобы отомстить за то, что я не согласился, начали рассчитывать распространять грязную дезинформацию. Раскрытые недавно секретные архивы поведали, что, оказывается, шефы КГБ — В. Семичастный, а затем незадачливый поэт Юрий Андронов — лично контролировали постоянные наблюдения за мной как за подвешенным элементом и писали на меня доносы в ЦК, уподобляясь собственным мелким стукачам.

— А почему в подзаголовке романа — «Русская сказка»?

— Есенин когда-то написал: «Лицом к лицу лица не увидать». Этот роман есть попытка разглянуть лицо века и лица героев и антигероев в угор, Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе легко узнаваемы, и многое в их портретах построено на фактах. Но есть и неизбежный элемент гипотезы. Откуда я, на самом де-

— Славя общественное и личное в романе определен как бы уже в эпиграфе. Сначала сибирская каштанка: «Нет любви неубитой, нет отчета на свей бед. Нет любви незачетной. Позабойтой, то же нет». Потом Уильям Фолкнер: «Прошлое не проходит. Это дано не прошлое». Как замысел не забыть? Найдутся червоточины, которые вешельничать строго вынуждают, с коей автор поднимает занесу над собственной интимной жизнью, наэту духонный стриптизм. Для меня же это драгоценная доверительность интимности, уверенность, что читатель не оскорбит пошлым взглядом, пошлым слесем Любью, для меня это авторские «Я вам верю, доверю», потому-то так и раскисываю стою илючьем в протени.

— Хотим мы этого или не хотим, сама жизнь есть переплетение политики и самого интимного. Было ведь сказано — если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. «Доктор Живого» не политический роман, но политика начала заниматься им, да еще так палачески. Почему? Да потому, что Пастернак поставил историю любви выше истории как таковой. А политика ваяла да и взривовала...

— О многом в своей личной жизни я впервые исповедывался в моем романе: и о тех женщинах, которых любил — да и до сих пор люблю благодарной любовью, — и даже о том, как меня когда-то в студенческие времена безуспешно пытались завербовать в КГБ, а потом, чтобы отомстить за то, что я не согласился, начали рассчитывать распространять грязную дезинформацию. Раскрытые недавно секретные архивы поведали, что, оказывается, шефы КГБ — В. Семичастный, а затем незадачливый поэт Юрий Андронов — лично контролировали постоянные наблюдения за мной как за подвешенным элементом и писали на меня доносы в ЦК, уподобляясь собственным мелким стукачам.

— А почему в подзаголовке романа — «Русская сказка»?

— Есенин когда-то написал: «Лицом к лицу лица не увидать». Этот роман есть попытка разглянуть лицо века и лица героев и антигероев в угор, Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе легко узнаваемы, и многое в их портретах построено на фактах. Но есть и неизбежный элемент гипотезы. Откуда я, на самом де-

— Да уж бежика современной молодой поэзии — в двух очаровательных магазинчиках: «Гилея» на ул. Фрунзе и «Литературный салон» в Казань перулке на Ордынке. Это две магазинчики, но крепчайшие крепости русского поэтического авангарда. Вернувшись оттуда, обложился книжками и читаю, читаю, чтобы дополнить свою антологию поэзии XX века. Мы так зацкились на политике, что можем не заметить гения.

— То с антология, которую три года ты делал в «Огоньке»?

— Я начал составлять эту антологию для американского издательства «Даблдей» еще 18 лет назад. Задача была объединить всех лучших русских поэтов века: и «белых», и «красных» — качества поэзии. И в этом случае — собирательная стратегия лоскутного одеяла: лоскуток к лоскутку. Тогда переправлять рукопись по почте было невозможно. Выручила Марина Влади: ее не смели обыскивать в аэропортах, потому что она приняла хитроумное решение стать членом ЦК КПСР. После долгих мятарств антология будет напечатана к началу учебного года в «Даблдей». Это самая большая антология иностранной поэзии, когда-либо выходящая на английском, — 1072 страницы, 250 поэтов: от Константина Случевского до Ильи Кричевского, убитого в августе 1991 года.

— Получается, антология выйдет у нас? Получается, англоязычный читатель будет лучше знаком с русской поэзией века, чем наш.

— За это подвиг взялось новое издательство «Полиграф», объявив на английском языке под названием «Строфы века» (главный редактор серии Анатолий Стрельный). Но русский вариант будет еще больше — 80 печатных листов в одном томе крупного, библейского формата с текстом в два столбца! Уже не 250, а примерно 550 поэ-

тов, среди которых и совсем позабытые — такие, как Серафим Огурцов, Владимир Парнах, Юрий Рок и многие другие. Выдержит ли такую книжницу наш отечественный клей и отечественная дружка? Издательство обещает, что выдержит. Зато у каждого, кто купит этот фолиант, будет вся русская поэзия XX века, и не спеша читать ее можно всю жизнь.

— А роман «Не умирай прежде смерти» тоже сработал там или ты начал писать его еще здесь, сразу после путча?

— Лет пятнадцать назад бывший знаменитый вратарь «Динамо» Хомин, прозванный в Англии 1945 года «Тигром», пригласил меня в составе сборной по футболу СССР (ветеранов) поиграть в Молдавию. Ветераны играли медленно, но поперек, видение поля волшебное сохранялись. Молдавские болельщики скинулись и купили для «Тигра» в перерыве роскошный ковер с алыми цветами, чтобы вратарю было полегче падать. Я написал страниц двадцать повести «Матч ветеранов», но потом она почему-то заглохла. Повесть воскресла во мне, когда 19 августа на баррикадах я снова увидел некоторых моих футбольных кумиров, оставшихся в живых. И во мне все сразу связалось в тугой узел — и путч, и футбол, и любовь...

— Ну, три героя — три президента не спрятались под псевдонимами. Сегодня они выданы тебе другими, изменилось отношение к ним?

— Конечно, мое отношение к ним всем менялось как менялись они, события вокруг них и как менялся мир. Глава «Москвы» для президента по времени не написан на год ближе к Ельцину — герою трех августовских дней, чем глава «Процесса с красным флагом», с горечью написанная тогда, когда стали уже ясно непредугаданные трагические последствия непорядочного решения в Беловежской пуще. Однако думаю, что, если бы пути удалось и империи начали сохранять от развала при помощи танков, трагедия была бы еще непоправимей. Глава о Шеварднадзе написана в самом начале грузино-абхазского конфликта, который тогда еще не принял таких кровавых форм, как сегодня. Люди иногда оказываются заложниками обстоятельств, а потом уже не могут остановить развитие событий. История предупреждает, что в этнических войнах никогда не бывает полностью виновата только одна сторона. Сейчас занимается выяснениями, кто виноват больше, кто меньше, кто нечел, а кто продолжил, никакого смысла не имеет. Надо немедленно остановить эту бессмысленную бойню, потому что в моих глазах одинаково горькие слезы от гибели и моих братьев грузин, и моих братьев абхазцев.

— Один из героев следовало бы особенно важным назвать Пельчиониса (не знаю, кто послужил его прототипом, но автор ему явно симпатизирует), говорит: «Не пойдешь ни в какие образовательные учреждения, не пойдешь ни в какие учебные заведения». Тебе близко это суждение?

— А разве я обязан развешивать читателю, мой ли это мысли в устах того или иного героя? Весь роман построен на моих собственных догадках. Пусть и читатель догадывается: высказавшись сразу в том или ином случае, автор ему явно симпатизирует, говорит: «Не пойдешь ни в какие образовательные учреждения, не пойдешь ни в какие учебные заведения». Тебе близко это суждение?

— Славя общественное и личное в романе определен как бы уже в эпиграфе. Сначала сибирская каштанка: «Нет любви неубитой, нет отчета на свей бед. Нет любви незачетной. Позабойтой, то же нет». Потом Уильям Фолкнер: «Прошлое не проходит. Это дано не прошлое». Как замысел не забыть? Найдутся червоточины, которые вешельничать строго вынуждают, с коей автор поднимает занесу над собственной интимной жизнью, наэту духонный стриптизм. Для меня же это драгоценная доверительность интимности, уверенность, что читатель не оскорбит пошлым взглядом, пошлым слесем Любью, для меня это авторские «Я вам верю, доверю», потому-то так и раскисываю стою илючьем в протени.

— Хотим мы этого или не хотим, сама жизнь есть переплетение политики и самого интимного. Было ведь сказано — если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. «Доктор Живого» не политический роман, но политика начала заниматься им, да еще так палачески. Почему? Да потому, что Пастернак поставил историю любви выше истории как таковой. А политика ваяла да и взривовала...

— О многом в своей личной жизни я впервые исповедывался в моем романе: и о тех женщинах, которых любил — да и до сих пор люблю благодарной любовью, — и даже о том, как меня когда-то в студенческие времена безуспешно пытались завербовать в КГБ, а потом, чтобы отомстить за то, что я не согласился, начали рассчитывать распространять грязную дезинформацию. Раскрытые недавно секретные архивы поведали, что, оказывается, шефы КГБ — В. Семичастный, а затем незадачливый поэт Юрий Андронов — лично контролировали постоянные наблюдения за мной как за подвешенным элементом и писали на меня доносы в ЦК, уподобляясь собственным мелким стукачам.

— А почему в подзаголовке романа — «Русская сказка»?

— Есенин когда-то написал: «Лицом к лицу лица не увидать». Этот роман есть попытка разглянуть лицо века и лица героев и антигероев в угор, Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе легко узнаваемы, и многое в их портретах построено на фактах. Но есть и неизбежный элемент гипотезы. Откуда я, на самом де-

— Да уж бежика современной молодой поэзии — в двух очаровательных магазинчиках: «Гилея» на ул. Фрунзе и «Литературный салон» в Казань перулке на Ордынке. Это две магазинчики, но крепчайшие крепости русского поэтического авангарда. Вернувшись оттуда, обложился книжками и читаю, читаю, чтобы дополнить свою антологию поэзии XX века. Мы так зацкились на политике, что можем не заметить гения.

— То с антология, которую три года ты делал в «Огоньке»?

— Я начал составлять эту антологию для американского издательства «Даблдей» еще 18 лет назад. Задача была объединить всех лучших русских поэтов века: и «белых», и «красных» — качества поэзии. И в этом случае — собирательная стратегия лоскутного одеяла: лоскуток к лоскутку. Тогда переправлять рукопись по почте было невозможно. Выручила Марина Влади: ее не смели обыскивать в аэропортах, потому что она приняла хитроумное решение стать членом ЦК КПСР. После долгих мятарств антология будет напечатана к началу учебного года в «Даблдей». Это самая большая антология иностранной поэзии, когда-либо выходящая на английском, — 1072 страницы, 250 поэтов: от Константина Случевского до Ильи Кричевского, убитого в августе 1991 года.

— Получается, антология выйдет у нас? Получается, англоязычный читатель будет лучше знаком с русской поэзией века, чем наш.

— За это подвиг взялось новое издательство «Полиграф», объявив на английском языке под названием «Строфы века» (главный редактор серии Анатолий Стрельный). Но русский вариант будет еще больше — 80 печатных листов в одном томе крупного, библейского формата с текстом в два столбца! Уже не 250, а примерно 550 поэ-

тов, среди которых и совсем позабытые — такие, как Серафим Огурцов, Владимир Парнах, Юрий Рок и многие другие. Выдержит ли такую книжницу наш отечественный клей и отечественная дружка? Издательство обещает, что выдержит. Зато у каждого, кто купит этот фолиант, будет вся русская поэзия XX века, и не спеша читать ее можно всю